

Содержание

<i>Анна Кузнецова</i> Её “Курсив...”	7
<i>Предисловие ко второму изданию</i>	19
1. Гнездо и муравьиная куча	27
2. Бедный Лазарь	101
3. Товий и Ангел	179
4. Соль земли	275
5. “Гордые фигуры на носу кораблей”	371
6. Черная тетрадь	433
7. Не ожидая Годо	515
<i>Послесловие ко второму изданию</i>	599
<i>Биографический справочник</i>	605
Именной указатель	667

Её “Курсив...”

Не так уж часто случается, что год рождения человека совпадает с началом века, а доживает он до его конца. Особенно если это век катастроф.

Родившись в 1901 году, Нина Николаевна Берберова прожила 92 года. Из России Серебряного века, вдруг ставшей полигоном большевистского эксперимента, бежав в постнищеванскую Европу, а из Европы, опустошенной нацизмом, — в феминистскую Америку, она видела мир с разных точек пространства и времени и всю жизнь напряженно размышляла над тем, что ей открывалось. Размышляла и записывала.

Зарабатывая на жизнь литературным трудом, эта умная, красивая, талантливая женщина до блеска отточила стиль, но ее художественную прозу и беллетризованные биографии затмила автобиографическая книга “Курсив мой”. Вышедшая в 1969 году, эта книга стала одной из самых читаемых во Франции и вызвала шквал возмущения и протестов в кругу современников-эмигрантов — ее второстепенных героев. Они отказывались узнавать в ней себя и имели на это полное право.

Впрочем, “Курсив...” был не первой такой книгой. И не последней. Первой подобной мемуарной книгой стали “Петербургские зимы” Георгия Иванова. А после “Курсива...” Василий Яновский написал свои скандальные “Поля Елисейские”. Можно сказать, что в зарубежной русской литературе XX века сложилась традиция писательских “квазимемуаров”, в которых законы литературы взяли верх над требованием исторической достоверности. Века катастроф сметал традиции, и здесь у писателей были свои основания обращаться с жанром именно так.

Классическим для мемуаров был XIX век. Отношение к современности как к истории привело к появлению большого количества мемуарных текстов, сложилась традиция их публикации в специальных журналах — “Русский архив”, “Русская старина”, “Исторический вестник”.

Вовлечение многих образованных людей в события 1812 года дало ряд мемуаров, написанных хорошим литературным языком, и они стали публиковаться в литературно-художественных журналах. От романа — основного прозаического жанра в XIX веке — мемуары писателей

переняли главное качество: факты в них стали подбираться и компоноваться под сильным воздействием художественного начала.

Художественная литература со своей стороны тоже тянулась к истории, переживая усталость от романтического вымысла: с конца тридцатых годов XIX века к художественной прозе стало предъявляться требование правдивого воспроизведения действительности. И документалистика втянулась в литературное пространство. Так человеческий документ вплотную приблизился к границе истории с литературой, переходить которую пока не собирался. Парадоксальное сочетание достоверности и субъективности стало спецификой мемуарного жанра.

Для мемуарных текстов XX века 1917 год так же важен, как 1812-й — для века XIX: множатся воспоминания о погибших и умерших людях и о разрушенном укладе жизни. После октябрьской катастрофы русская литература разбилась на два потока: советскую и эмигрантскую, и мемуары в них приобрели разные черты. В советской литературе с 30-х годов XX века установился “неожитийный” биографический канон: мемуары должны были отражать героический путь строителя социализма, показывая читателю примеры для подражания — как жития святых в средневековой литературе. Мемуары, создаваемые с иными установками, оставались в рукописях и тщательно скрывались.

А на мемуаристику русского зарубежья активно влияла неклассическая философия — европейская постницшеанская мысль. Период между двух войн в Европе стал временем становления философии экзистенциализма. Французские мыслители — будущие экзистенциалисты, персоналисты и т.п. — тесно общались с парижской эмиграцией и сами признавали большое влияние на них Н. Бердяева, Н. Лосского и других пассажиров печально знаменитого “философского парохода”.

На поэтику “Курсива...” Нины Берберовой больше всего повлияли два мемуарно-автобиографических произведения: классическое — “Былое и думы” А.И. Герцена, написанное по романному канону, — и неклассическое, образец “мутации жанра”, произошедшей в XX веке, — “Петербургские зимы” Георгия Иванова, в предисловии к первому российскому изданию которых Н. Богомолов определяет их природу как абсолютно литературную. После издания “Петербургских зим” ряд писательских мемуаров, созданных в эмиграции в XX веке, почти полностью уходит в литературное пространство.

Писательская эмиграция, историю которой можно вести от Овидия, в XX веке также получает новое качество. Конфликты с властью, заставлявшие писателей покидать свои страны, случались в разные эпохи. Новое в XX веке — масштаб явления. Массовая эмиграция коснулась всех европейских стран и задела Америку, страну эмигрантов, ставшую окончательным прибежищем для многих беженцев. Небывалое

количество культурных людей за границей нуждалось в создании эмигрантских культур за пределами национальных, и они появились. Это отличие ситуации от сходных явлений предшествующих эпох точно подмечено исследователем литературного быта русской эмиграции О. Демидовой: “Для Овидия, Данте или Гейне экспатриация была личным событием”.

История русской эмиграции после 1917 года насчитывает несколько волн, а одной из главных проблем первой волны, самой многочисленной, стало эстетическое размежевание поколений. Молодые люди и подростки, уехавшие из России в тот возрастной период, когда еще не успели укорениться в родной культуре, но уже не могли ассимилироваться в чужой (исключение — В. Набоков), стали предметом горьких размышлений поколения “отцов”. Знаменитый спор о возможности творчества и преемственности литературных поколений в эмиграции разошелся по двум основным направлениям мысли: одни считали, что литература возможна только в родной языковой среде, поэтому эмигрантской литературы как самостоятельного явления быть не может; другие — что литература возможна только в условиях творческой свободы, поэтому только в эмиграции русская литература может и должна сохраниться.

Особой позиции придерживался представитель “поколения детей”, или “незамеченного поколения”, как с подачи В. Варшавского стали называть младшее поколение первой волны русской литературной эмиграции, Гайто Газданов. Говоря от имени всех своих сверстников, он утверждал, что спор основан на представлениях, не соответствующих современной реальности. Он считал существование молодой эмигрантской литературы в новоевропейских исторических условиях невозможным, но только потому, что творчество — это утверждение, а человеку без родины и без будущего утверждать нечего.

Действительно, младшее поколение первой волны эмиграции принесло русской литературе немногих оригинальных творцов — за последнее время сложилась традиция считать писателями первого ряда, кроме безусловно признанного В. Набокова, только Г. Газданова и Б. Поплавского. Но именно это поколение дало развитие новой мемуарной прозе.

Когда классические жанры, а роман особенно, переживали упадок и кризис, мемуарная проза дала неожиданно яркие образцы в творчестве Ирины Одоевцевой, условно относимой к “незамеченному поколению”, хотя она имела успешный литературный дебют в России; Романа Гуля, Зинаиды Шаховской, Василия Яновского; но прежде всего, конечно, Нины Берберовой.

Родилась Нина Николаевна Берберова (1901–1993) в Санкт-Петербурге в семье чиновника по особым поручениям при министре

финансов и дочери тверского помещика. В начале двадцатых годов она участвовала в литературной жизни Петербурга, в 1922 году состоялась ее первая публикация — стихотворение в альманахе “Ушкуйники”. В том же году со своим гражданским мужем Владиславом Ходасевичем Берберова уехала в Берлин, до апреля 1925 года они жили в Саарове, Мариенбаде и в Сорренто у М. Горького. Первые эмигрантские публикации Берберовой также были стихотворными: в 1922 году в берлинской газете “Голос России” и в 1923 году в берлинском журнале “Беседа”.

В 1925 году начался парижский период эмиграции Берберовой: в течение пятнадцати лет она сотрудничала в газете “Последние новости”. За это время был написан цикл рассказов, частью опубликованных в журнале “Современные записки”, изданы книгами три романа: “Последние и первые” (Париж, 1931), “Повелительница” (Париж, 1932), “Без заката” (Париж, 1938) — и две беллетризованные биографии: “Чайковский” (Берлин, 1936), “Бородин” (Берлин, 1938). Много созданное Берберовой за эти годы осталось в периодике: стихи, рассказы, критические заметки и эссе. В 1932 году она оставила Ходасевича и вскоре вышла замуж за Николая Макеева, с которым развелась в 1947 году. Во время Второй мировой войны Берберова оставалась в оккупированной Франции (позднее ее обвиняли в коллаборационизме). После войны она была постоянным сотрудником парижского еженедельника “Русская мысль”.

В 1950 году в американском “Новом журнале” Нина Берберова опубликовала четвертый роман “Мыс бурь” и в том же году переехала в США. Она восемь лет прожила в Нью-Йорке, работая в архиве. В 1954 году вышла замуж за пианиста Георгия Кочевичко, в 1958-м развелась с ним. С 1958 года Берберова становится университетским преподавателем: в 1958–1963 годах преподает в Йельском университете, с 1963-го — в Принстонском. В 1958–1963 годах она входит в редакцию мюнхенского альманаха “Мосты”.

В 1969 году в авторизованном переводе Филиппа Рэдди на английский язык в американском издательстве “Harcourt, Brace & World, Inc.” впервые была издана художественная автобиография Нины Берберовой “*The Italics Are Mine*”. На русском языке она впервые вышла в Мюнхене в 1972 году с исправлениями, затем в Нью-Йорке в 1983 году с дополнениями. Нью-Йоркское издание было переиздано в Москве в 1996 и 2001 годах.

Первые издания “Курсива...” вызвали в эмигрантской среде скандал, поскольку современники естественно восприняли книгу Берберовой как человеческий документ и ожидали от нее правдивого отображения действительности. О написанном говорили как о “сплетнях и сведении счетов с неудобными автору лицами, причем автор не стесняется никаких вымыслов”. Многие отмечали “неисчислимое количество фактических

ошибок, обнаруживающих, что автор писал свои «мемуары» с исключительной отгагой, с совершенным какпопальством, путая имена, даты, факты». Роман Гуль, с которым у Берберовой до выхода книги были очень приятные, даже дружеские отношения, написал на “Курсив...” самую, пожалуй, резкую рецензию. Кроме восстановления ряда попраных фактов, в рецензии была масса “натяжек” и “передергиваний”. Книгу он называл скучнейшей, заявив, что читательского успеха она не имела и после нескольких отрицательных рецензий “утонула в бездне неудачных книг”.

То, что мемуары превратились в художественное произведение, где по литературным законам существуют реальные люди под собственными именами, не осознавалось ни после “Петербургских зим”, ни после “Курсива...”, ни после “Полей Елисейских”. Скорее всего, действующие лица подобных произведений никогда не согласятся признать их как самостоятельный жанр. Ведь запретил же Ходасевич Ремизову видеть себя во сне, после того как тот записал ряд снов с его участием. А тут в основе литературного жанра — даже не сны, а воспоминания о реальных событиях. И вдруг — на похоронах Ходасевича, описанных Берберовой, развернулась картина: литературная эмиграция бойкотирует Цветаеву, когда в действительности Цветаева уже четыре дня как уехала из Парижа. Вдруг сама Берберова присутствует на похоронах Замятина, при том что на самом деле ее там не было. А. Гучков оказывается в “Курсиве...” масоном; И. Фондаминский участвует в белом терроре, граф В. Зубов посажен в советскую тюрьму на многие годы... Все это можно оправдать, только если определить природу этого произведения как абсолютно литературную, вслед за Н. Богомоловым, охарактеризовавшим так книгу Георгия Иванова. И судить квазимемуары по законам художественного мира, тем более что привычные законы мира реального самой реальностью XX века были поставлены под сомнение — историческая действительность века катастроф такова, что единственной константой в ней стал сам человек. В “Курсиве...” есть такое размышление: “В мире остался только человек — описания природы, в которой он живет, прогулки в его семейные дела, производственные отношения имеют второстепенный интерес. Только он сам важен в своей современности, а все остальное есть двухмерное прошлое, в котором действовали слабые в функциональном смысле законы. Для всей великой старой литературы — кроме нескольких исключений, к которым принадлежат греческие трагики, Шекспир и Сервантес, — я должна делать усилие исторического воображения и это усилие затем удерживать; и только новая литература, как воздух, входит в меня. Новый человек, живущий в условиях новой технологии, есть прежде всего — новая идея о человеке <...>”.

Р. Гуль оценивает “Курсив...” по классическим мемуарным канонам и возмущенно замечает: “...у Берберовой всегда выходит: Она и Горький,

Она и Бунин, Она и Керенский, Она и Белый”. Однако в основе автобиографии Нины Берберовой — не информация об исторической действительности, как предполагает жанровое задание классических мемуаров. “Курсив...” сознательно подчинен идее, что человек — единственная несомненная реальность, а мир существует только как свидетельства о нем людей, поэтому второстепенен и необязательно достоверен.

Даже в названия глав “Курсива...” вынесены образы, которые сама писательница охарактеризовала как “систему личных символов”, последовательно сменяющих и отменяющих друг друга. Они говорят о том, что в основе книги — субъективная история: история развития и становления личности.

“Гнездо и муравьиная куча” — образы человеческих сообществ, в которых проходило ее детство. Образы эти противопоставлены: “гнездо”, образ семьи, — олицетворение рутинной “биологической обязанности” быть вместе; “муравьиная куча” — образ творческого сосуществования людей; для обозначения такого сообщества Герцен ввел термин “сопластники”. Человеческий “пласт” в определенном историческом слое может включать несколько поколений, объединенных одной исторической судьбой.

“Бедный Лазарь” — образ юности автора, прошедшей в революционной России. Елеазар из притчи Иисуса в Евангелии от Луки — прокаженный бедняк, который вознаграждается в потустороннем мире, тогда как его богатый антипод, в том мире наказанный, не может даже принять от пожалевшего его Лазаря помощи, поскольку между бедными и богатыми “утверждена великая пропасть”.

“Товий и Ангел” — образ жизни вдвоем, жизни в пути, при которой один в паре — ведущий (Ангел), другой — ведомый (Товий). Апокриф, ставший сюжетом многих возрожденческих полотен и давший жизнь личному мифу Берберовой, пересказан и толкован ею в главе о жизни с В. Ходасевичем в довоенном Париже.

“Соль земли” — глава о парижской эмиграции, новой среде, в которой общность людей возникла благодаря их сознательному усилию и творческой энергии.

Главы “Гордые фигуры на носу кораблей” и “Черная тетрадь” (дневник 1939–1950 годов) рассказывают о жизни во Франции. События: расставание с Ходасевичем, женитьба и смерть Ходасевича, Вторая мировая война, гибель вдовы Ходасевича, замужество Берберовой и развод — здесь изъяты из хронологической последовательности и перепутаны во времени потоком размышлений и риторических отступлений.

Глава “Не ожидая Годо” — о созревании решения уехать в Америку, об отъезде и новой жизни среди новых “сопластников”.

Внутренний мир людей важнее и достовернее внешнего — утверждает Берберова всей своей книгой, на что Р. Гуль возражает с противоположных позиций: “Свой «внутренний мир» Б-ва выдумывает с великой натугой и настолько претенциозно, что читатель сразу же видит все его «белые нитки». Подражая «Словам» Сартра, что ли, госпожа Б. пишет о себе роскошные необыкновенности”. “Необыкновенности” эти, однако, преследуют определенную цель.

Например, Берберова пишет, что о своем буржуазном происхождении узнала уже взрослой и не чувствует никакой связи с сословием — главным образом потому, что всю ее жизнь все ее окружение составляли такие же деклассированные изгнанники, как она. “Освободить себя от последствий буржуазного воспитания (тяжелая задача, которой занимаются вот уже пятьдесят лет во Франции Луи Арагон и Жан-Поль Сартр) мне было не нужно: я росла в России в те годы, когда сомнений в том, что старый мир так или иначе будет разрушен, не было и никто всерьез не держался за старые принципы — во всяком случае в той среде, в которой я росла”. Для нее это важный момент в поставленной себе задаче стать “новым человеком”. Вот комментарий Л.Я. Гинзбург к аналогичному месту “Исповеди” Ж.-Ж. Руссо: “И весь этот многогранный комплекс новых установок в сферах политической, социальной, морально-психологической, эстетической Руссо осуществляет, создавая модель нового человека. Это человек, вышедший из третьего сословия, свободный в своем самосознании от типологических схем старого общества, интеллектуальный плебей, заявляющий о своей уникальности” (“О психологической прозе”).

То, что “сопластники” Берберовой, воспитанные в традиции, принимали как беду и ущерб, героиня “Курсива...” и подобные ей “новые люди” трактуют оптимистически: “На стыке старого и нового — умирания одной эпохи и рождения другой, которое продолжается уже лет пятьдесят, — мы сливаем обе, и в некотором смысле даже чувствуем себя привилегированным сословием благодаря тому, что одинаково вольно дышим и в старом, и в новом, то есть способны к такому дыханию. В плане природном мы суть некие феномены этой гармонии”.

Вот почему в творчестве этих “новых людей” расцвел именно мемуарно-биографический жанр. Нет родины, нет будущего, нечего утверждать? Как бы не так — отвечают они. Родина — весь мир. А будущее творим мы сами каждую минуту.

И вот почему мемуары превратились в квазимемуары: свободной волей нового человека травмирующие события поворачиваются в его сознании так, чтобы стать плодотворными для внутренней жизни. Но для обретения столь сильной творческой воли нужно освободиться от традиций и условностей. Берберова не устает благодарить своих учителей и “освободителей”, авторов новой идеи о человеке.

Книги Ницше здесь — среди первоисточников: “Я смиренно собирала крохи: <...> Достоевский, Ницше, Шестов, кем-то брошенное слово (и мною подобранное), и копила их, и хранила их, и думала, и думала, и думала над ними”; “Заратустру я читала, гуляя по улицам”; “Я люблю трудную жизнь. Пришло, несомненно, в юности из Ницше. Засело. На всю жизнь”.

Ницшеанский сюжет в “Курсиве...” начинается с обрисовки событий, показывающих, что имморализм и атеизм были героине изначально, имманентно присущи. Вот маленький сверхчеловек, подсмотревший прием у доктора: “Меня наказали очень строго, объяснили, что визит к доктору есть секрет, охраняемый законом, и что я совершила преступление, за которое сажают в тюрьму. И мне вдруг страстно захотелось сесть в тюрьму, чтобы сейчас же убежать из нее на волю, доказав и себе, и другим, что я могу быть слепой, безрукой, безногой и преступной и все-таки жить, жить, жить!” А вот юный сверхчеловек, принимающий благословение католика: “Видя, что никто из детей не двигается, а только тарачит глаза и переступает с ноги на ногу, и решив, что католику сидеть и ждать скучно, я, нисколько не чувствуя значительности минуты (и, как обычно, боясь потерять драгоценное время), пошла первая, подошла к нему и довольно развязно протянула ему руку для рукопожатия”. А вот уже зрелый сверхчеловек, полемизирующий с Библией, как ницшеанский Заратустра: “И я часто мысленно говорю людям: — Дайте мне камень. А уж я сама сумею сделать из него хлеб. Не беспокойтесь обо мне. Я хлеба не прошу. Только протяните мне вон тот булыжник, уж я знаю, что мне с ним делать”.

Жизнь героиня “Курсива...” понимает и принимает всецело в соответствии с идеями Ницше — как трагедию, глубокую и жестокую. В приятии всякой данности она проявляет ницшеанскую же волю к трагедии: “Одно убеждение постоянно жило и живет во мне, что мой век (с которым вместе я родилась и вместе старею) — единственный для меня возможный век. Я знаю, что многие судят этот век иначе. Но я сейчас говорю не о мировом благополучии или о счастье жить в своей стране, а о чем-то более широком. Как женщина и как русская, где, в каком еще времени могла я быть счастливее? В XIX веке, среди пушкинских Нанетт и Зизи? Среди герценовских Наталий (или их воспитанниц)? Среди дочек и маменек нарождающейся буржуазии? Или ученых поборниц женского движения? Или, может быть, в XVIII столетии? Или еще раньше, когда по всей Руси спали, ели и молились, молились, ели и спали молодые и старые? Я пришла на готовое. Вокруг меня лежат сокровища — только успевай их хватать. <...> Я живу в невероятной, в неопишуемой роскоши вопросов и ответов моего времени, которые мне близки и которые я ощущаю как свои собственные, в полной свободе делать свой выбор: любить то и тех, кого мне хочется. Я нахожусь в центре тысячи

возможностей, тысячи ответственностей и тысячи неизвестностей. И если до конца сказать правду — ужасы и бедствия моего века помогли мне: революция освободила меня, изгнание — закалило, война протолкнула в иное измерение”.

“Роскошные необыкновенности”? Конечно. Изрядный литературный дар здесь налицо — Гуль обозвал произведение Берберовой “бездарным”, но это, мягко говоря, неправда. В то же время все эти “роскошества” — лишь малая часть очень серьезных раздумий о месте человека в мире, которыми проникнута вся книга. Вот еще одна краска, показывающая глубину и детальность раздумий Берберовой о человеке, — запись в “Черной тетради” от декабря 1942 года: “Герой нашего времени. Я знала С. еще в России. С тринадцати лет он жил с горничными (в доме родителей). Два раза выгнали из гимназии. В восемнадцать лет пошел к Шкуро и кого-то резал. Затем — Берлин. Посадили в тюрьму за подделку чека. А потом случилось вот что: в Берлине было совершено политическое убийство, был убит турецкий министр, виновный в резне армян, Талаат-паша; жена убитого, среди тридцати двух представленных ей фотографий «студентов», опознала С. как убийцу мужа. Его посадили. Он же в этот вечер привел проститутку с угла Курфюрстендамма в квартиру, где жил с папашей и мамашей, которые в этот вечер были в опере. Таким образом, у него было алиби, и все вместе свидетельствовали: папа, мама, уличная девица (в которой было все его спасение), привратник дома, любовник девицы, который ждал его на углу. С. выпустили. Он женился на девочке, которой было девятнадцать лет. В ночь свадьбы он исчез и три дня пропадал — где-то кутил с женщинами. А она сидела одна и плакала. Шесть лет он жил на ее средства, и наконец, после того как он едва не изнасиловал ее сестру (пятнадцати лет), она ушла от него. Он шатался где-то, потом поступил в Иностраннный легион и уехал в Африку (была война французов с Абдаль-Керимом). В Африке он опять кого-то резал, вернулся через пять лет. Когда я встретила его в Париже и спросила, где его медали и кресты и в каком он чине, он сказал, что не смог пройти в офицеры, не способен был выдержать экзамен. Тут подвернулось ему место: стюардом на пароходе, возившем из Германии в Аргентину евреев, уезжавших от Гитлера. Из Аргентины в Германию он возил контрабанду. Сделал много рейсов, сам был «маленьким Гитлером» (по его словам) на этом пароходе. Затем он куда-то исчез. С. умел скрывать свое прошлое, говорил на четырех языках, когда-то провел год или два в Кембридже, в университете (из которого, кажется, тоже был выгнан). У него были светские манеры, и он был довольно хорош собой. Умел обращаться с женщинами, которые сходили по нем с ума. И вот теперь он в немецкой форме, сражается на восточном фронте, вернее — служит переводчиком у немцев в России. Сейчас вернулся в отпуск из-под Смоленска. Говорит, что все бежали из Смоленска, и когда они вошли,